

ВВЕДЕНИЕ

к жизнеописанию Фон-Визина⁵

История литературы народа должна быть вместе историей и его общежития. Только в соединении с нею может она иметь для нас нравственное достоинство и поучительную занимательность. Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются движения, страсти, мнения, самые предрассудки современного общества, если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо владычеству и влиянию литературы, то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества. Литературы бывают двойкие: одна для народа то, что дар слова для человека, высшая способность его после способности чувствовать и мыслить; впрочем, разделять сии способности не должно, ибо первая служит дополнением и событием другой⁶. Вторую литературу можно причислить к искусствам изящным, к ваянию, к живописи, к музыке. Она в разряде вспомогательных, уже изобретенных способностей, коими ум человеческий выражает мысль свою, коими народ образующийся знаменует успехи свои на поприще просвещения и умственного усовершенствования. Посреди безмолвия, оцепенения, царствующего при отсутствии первой из сих литератур, возвысится иногда голос автора, который сильно подействует на внимание общества, его

окружающего: общество отвечает ему с силою и быстротою потрясенного сочувствия; но сие действие случайно, скоропостижно и преходчиво: не имев предыдущего, оно едва объемлет стесненные пределы настоящего и теряется вместе с минутным впечатлением. Так искусный Ромберг⁷ всемогуществом игры своей поработает понятия и ощущения общества, которое слушает его, погруженное в безмолвие и внимание. Он будит в душе и в уме слушателей своих впечатления, ему покорные. В раздражении сокровеннейших ощущений своих слушатели сии сочувствуют, соответствуют сладкозвучным изливаниям повелительного чародея; но сие сочувствие, сия обоюдность в ощущениях, в сотрясениях сокровенных были только мнимые или по крайней мере не естественные, а искусственные. Пора баснословных чудес Орфея миновалась: ни горы не тронутся с места, ни львы, ни люди не преобразуются. Звуки утихли, раздраженные нервы уравнились, и между Ромбергом и слушателями его уже нет никакого нравственного соответствия. Между творением замечательным и народом, коего общество еще не готово для литературы или литература еще не готова для общества, нет также обоюдности глубокой и постоянной. Концерт отошел, книга

прочтена; и тот и другая возбудили несколько изящных ощущений, может быть, несколько благородных соревнований, но тем все и

кончилось. Некоторые явления литературные: великолепные оды Ломоносова⁸, воспламененные философические и сатирические гимны Державина⁹, утонченности взыскательного общежития, *европеизмы*, введенные в прозу и стихи наши Карамзиным¹⁰ и Дмитриевым¹¹, опыты Озерова¹², который умел иногда сочетать блеск трагических форм Вольтера¹³ с благозвучием поэзии Расина¹⁴, лукавое простосердечие и черты русской насмешливости и замысловатости, ярко оттенившие произведения Крылова¹⁵, оригинальность заимствований Жуковского¹⁶, положившего свою печать на подражания, завоеванные талантом и которые в свое время были смелые новизны; в Пушкине тот же дух, те же приемы поэтической притяжательности, еще более приноровленные к характеру времени и характеру русского ума и гораздо более разнообразные в своих действиях,— все сии явления, более или менее, продолжительнее или кратковременнее, наносили резкие впечатления на внимание общества нашего и возбуждали повсеместное сочувствие. Со всем тем, кажется, не страшась нареkania в неблагодарности и несправедливости к литературе отечественной, можно применить ее ко второму разряду, описанному выше¹⁷.

В русском обществе и в литературе русской не было и нет поныне сего обратного содействия, сего перелива оттенков с одного на другую, сей жизни, так сказать, общей в двух телах, сей общности, от коей литературы других народов являются нам столь исполненными движения,

страстей и жизненности. Нет сомнения, русское общество не выразилось литературою¹⁸. Вы должны искать следов его в истории двора, в истории походов, в истории успехов гражданственности: блестящие страницы могут здесь удовлетворять требования честолюбия народного и явить, что сие общество, хотя еще мало говорливое, имеет во многих чертах свою физиономию, свою нравственную самобытность. Но не ищите узнавать его по истории литературы: книжное знакомство с ним увлекло бы вас к заключению, что нет общества, а есть одно собрание людей. Русское общество не воспитано на чтении отечественных книг: вы не можете найти людей, которые чувствовали бы по Державину, мыслили бы по Княжнину¹⁹, коих мнения развились бы и созрели под влиянием таких-то или других русских авторов. Это неоспоримо. Какое может быть на народ влияние литературы, не имеющей эпопеи, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков: ибо один историк, и то историк отечества своего, как ни сильно выразил ум свой в творении своем, но действие его все должно же быть односторонне и ограничено самыми пределами поприща его²⁰. Если захотеть найти непременно господствующую черту нашей литературы, то должно остановиться

на поэзии лирической. И сие соображение приведет нас к заключению, что и у нас литература, или то, что из литературы имеем,

есть выражение общества. Общество наше, гражданственность наша образовались победами. Не медленными, не постепенными успехами на поприще образованности, не долговременными, постоянными, трудными заслугами в деле человечества и просвещения; нет! быстро и вооруженною рукою заняли мы почетное место в числе европейских держав. На полях сражений купили мы свою грамоту дворянства. При громах Полтавской победы совершилось наше, уже не оспориваемое водворение в семейство европейское. Сии громаы, сии торжественные победные молебствия отозвались в поэзии нашей и дали ей направление. Следующие эпохи, более или менее ознаменованные завоеваниями, войнами блестящими, питали в ней сей дух воинственный, сию торжественность, которая, может быть, в последствии времени была уже поддельная или подражательная и неудовлетворительная, но на первую пору была она точно истинная, живая и выражала совершенно главный характер нашего политического быта. Воинственная слава была лучшим достоянием русского народа: упоенные, ослепленные ею, радели мы мало о других славах. Военное достоинство было почти единою целью, единым упованием и средством для высшего звания народа, которое должно было первоначально сосредоточивать в себе исключительно лучи просвещения, медленно разливавшегося по нижним ступеням общества. Военная деятельность удовлетворяла честолюбию народному и потребностям возникающего

гражданства. Торжественные оды были плодами сего воинственного вдохновения²¹. Напряжение лирического восторга сделалось общим характером нашей поэзии. Поэзии философической, прозе умеренной, которая более размышляет, чем чувствует, более способна хладнокровно судить, чем пламенно пристраститься, тут не было места. Ломоносов, Петров²², Державин были бардами народа, почти всегда стоявшего под ружьем, или праздновавшего победы, или готовившегося к новым. Они поэты присяжные, поэты *lauréat* победы еще более, чем двора. Сию поэзию, так сказать официальную, должно приписывать не столько характеру их, сколько характеру эпох, в которые они жили. Пример сих великих поэтов, предназначенных быть образцами, подействовал и на склонности поэтов второстепенных, которые были, может статься, не столько внимательны к вдохновениям первобытным и непосредственным, не столько в сочувствии с господствующим духом народа, сколько покорны движению, данному предшественниками, сколько увлечены духом подражания. В этом отношении сатира “Чужой толк”²³ не только литературное, но и нравственное свидетельство, обличительная ссылка для современных наблюдений. На души и на умы великих людей действуют события, действует сила нравственная, скрывающаяся в начале сих событий; на умы людей, стоящих под ними, действует уже пример сих передовых стражей на поприще человеческих успехов. Говоря языком техническим: им нужны

проводники. Удар силы электрической уже по сообщению отзывается в телах, отдаленных от средоточия действия ее: ему нужно пройти до них через тело, ближайшее к нему, непосредственно предстоящее внезапному потрясению.

Лирическое, торжественное, хвалебное направление, данное поэзии нашей, не изменилось совершенно и в новейшие времена, когда другие потребности, другие усилия власти и гражданственности означились в явлениях

28

более миролюбивых, но не менее сильных для честолюбия народа могущественного и повелительного. Торжественность, на которую была настроена лира Ломоносова, отзывается иногда и в лире Жуковского, который из мира созерцания и мечтательности вызываем бывал шумом победы и кликами празднующего народа на торжество действительности; отзывается и в лире самого Пушкина, коего гений своенравный, кажется, должен быть столь независим от господства, удручающего других. В эпилоге “Кавказского пленника” вы найдете краски, приемы поэзии, ему исключительно свойственной, но в духе восторга, оживляющего сию воинственную поэзию, вы поддадитесь какому-то обратному влечению, вознесшему столь далеко в свое время поэзию Ломоносова и Державина. Предупреждая всякие превратные истолкования мнения, здесь изложенного, спешу заявить, что замечание мое вовсе не есть

критическое, или порицательное: я просто хотел привести свидетельство и должен был для подкрепления себе предпочесть хотя и изысканное, но яркое другим свидетельствам, более общим, но и менее уважительным.

Царствование Екатерины Великой, или Великого, по счастливому выражению принца де-Линь²⁴, должно было, явным образом, служить побуждением к направлению поэзии нашей, замеченному выше. Сие царствование, громкое, великолепное, восторженное, имело в себе много лирического. Его можно назвать высоким, торжественным гимном в истории отечественной. Все в нем способствовало к возвышению и славолюбию духа народного. Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими, озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающие нам действующие лица гомеровские. Это живые отрывки из “Илиады”. Предоставляя истории оценивать каждого по достоинству, нельзя не сознаться, что Орловы²⁵, Потемкины²⁶, Румянцевы²⁷, Суворовы²⁸ имели в себе также что-то поэтическое и лирическое в особенности. Стройные имена их придавали какое-то благозвучие русскому стиху. Нет сомнения, есть поэзия и в собственных именах. Державин это знал и оставил свидетельство тому в одной из строк “Водопада”. Поэт взывает к умершему Потемкину:

Потух лавровый твой венок,
Гранена булава упала,

**Меч в полножны войти чуть мог,
Екатерина возрыдала!
Полсвета потряслось за ней
Внезапной смертью твоей.**

В стихе, составленном из собственного имени и глагола, есть не одно верноподданническое, но и высокое поэтическое чувство. Этот стих, без сомнения, исключительно русский стих, но вместе с тем он и русская картина. Счастлив поэт, умевший пользоваться средствами: угадывать впечатления и высекать пламень поэзии из сочетания двух слов; но счастливее государь, который умел облечь имя свое красками и очарованием поэзии и, одарив им признательную историю, завещал его еще, как сокровище, и поэтам, которые дорожат истиною только тогда, когда она всемогуща и над воображением. Но властолюбие и слава побед не были единими страстями, можно сказать, единими добродетелями Екатерины. В мужественной душе своей она ценила высоко храбрость и воинственный героизм. Однажды, в приближенном обществе своем, задала она Сегюру, принцу де-Линь и другим запрос: “Если б родилась я мужчиною и на общей чреде, как думаете, до какой степени достигла бы я на военном поприще?”

29

Легко отгадать ответ: фельдмаршальский чин, достоинство отличного полководца были

единые меты, которые поставляли честолюбие могущественной монархини.—“Ошибаетесь,— прервала она,— в чине подпоручика встретила бы я смерть в первом сражении”.— Такой ответ обнаруживает душу; но душа, но ум Екатерины были доступны и к другим побуждениям. Душа ее вмещала все отрасли человеческого славолубия, ум ее был отвергт ко всем возвышенным впечатлениям и способен на все усилия. В числе предметов, занимавших деятельность его, успехи образованности и просвещения были целью ее особенной заботливости. Она не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать; баловала и щадила неизбежные уклонения его. Самая современная эпоха благоприятствовала сему августейшему пристрастию. Франция, униженная в политическом достоинстве своем, сошедшая с повелительной чреды, на которую возвела ее рука, некогда всемогущая, Людовика XIV²⁹, старалась развитием умственных способностей вновь захватить на другом поприще утраченное владычество свое. Усилия ее увенчаны были совершенным успехом. Версальский кабинет³⁰ не имел в себе другого Ришелье³¹, другого Мазарина³², и политика Европы не получала направления своего из Франции, но Фернейский кабинет³³ имел своего Ришелье, который с иными средствами едва ли был не могущественнее первого. Вольтер, представитель, орган, душа и глава сего нового рода присвоения, коего алкала властолюбивая Франция, распространял во имя свое и собратьев или учеников владычество гения

своего и новых мнений на умы Европы, все еще покорной господству Франции. Екатерина с самых молодых лет полюбила французский язык и французскую литературу, которая тогда уже исторгалась из ограниченного круга изящных писем и мерного великолепия, прославившего ее во дни Людовика XIV. При дворе Елисаветы посвящала она лучшие уединенные часы свои на чтение авторов, раскрывших ум ее, рано созревший для глубокомысленных соображений философии и политики. Вступив на престол, воцарила она с собою правила, которые почерпнула в учении. Гласным покровительством, всеми льстивыми, обольстительными свидетельствами благоволения, свойственными власти монарха и утонченности женщины, содействовала она торжеству Вольтера и соучастников его во всемирном правлении умов и мнений. По справедливости должно, однако же, заметить, что и до Екатерины правительство и двор признавали у нас власть просвещения европейского и не пренебрегали союзом с умственными знаменитостями современными. Вольтер уже в царствование Елисаветы был, так сказать, союзником на жалованье у двора нашего; и если “История Петра Великого”³⁴, подвиг, совершенный им в силу заключенных дипломатико-литературных сделок, не отвечает достоинству ни героя, ни писателя, то должно видеть в нем новое доказательство, что наемный союзник бывает обыкновенно мало надежен для пользы назначенного предприятия. Шувалов³⁵, не

тот, который в царствование Екатерины писал французские стихи, принимаемые в самом Париже за произведение французской почвы, но Шувалов, писавший и сам русские стихи, а более известный и достойный известности, потому что он едва ли не первый почувствовал красоту стихов Ломоносова, покровительствовал ему и умел от него выслушивать резкие истины и благородные упреки, Шувалов, вельможа двора Елисаветы и любимец ее, был уже посредником между литературою европейскою

30

и нами. Он имел в Женеве агента, Бориса Михайловича Салтыкова, кажется им уполномоченного для сношений с Вольтером по предмету истории, им сочиняемой. Письма его к Шувалову — настоящие депеши о том, что делается в *Делисах*³⁶, тогдашнем местопребывании Вольтера. Вообще из переписок того времени, которые удалось нам прочесть, видно, какое деятельное участие принимали вельможи наши в движениях современной литературной деятельности. Новые понятия, смело провозглашаемые во Франции, имели тогда отголоски в Петербурге. Мы нашли в записках, оставленных княгинею Дашковою³⁷, что до 15-летнего возраста прочла она в доме дяди своего, графа Воронцова, сочинения Беля³⁸, Вольтера, Монтескье³⁹, Гельвеция⁴⁰; правда, она прибавляет, что, кроме Екатерины, тогда еще великой княгини и также в летах весьма

молодых, и ее, никто из женщин в Петербурге не занимался подобными чтениями. Оно и постижимо, и едва ли можно жалеть о том. Подобное чтение, нельзя не сознаться, было несколько преждевременно, и просвещение, за ним следовавшее, должно было походить на то, в котором вообще обвиняют нас некоторые иностранцы: насильственно-прививное, скороспелое и потому не надежное. Но между тем сие свидетельство, в числе прочих, доказывает, что отражение лучей, бросаемых Франциею, было не чуждо и вершинам общества нашего.

(Окончание в следующем №.)